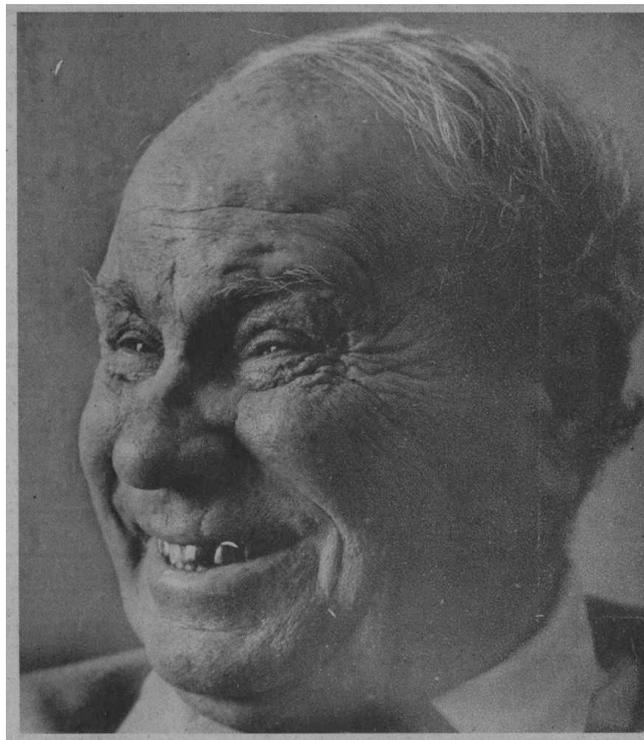


Как ни противно, снова хочется жить

С писателем Иваном Федоровичем ПАНЬКИНЫМ Беседует обозреватель «Тульских известий» ВИКТОР ШАВЫРИН

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Панькин И. Ф.— обрусевший мордвин из племени эрзя. Родился в 1921 г. в Поволжье. Трудовая биография: беспризорник, колонист, акробат в цирке, юнга на море, рядовой на войне, рабочий радиозавода, писатель. Инвалид войны. Ордена: Красной Звезды, Отечественной войны I степени. Лауреат премии св. Сергия Радонежского. В Туле живет с 1961 г. Книги Панькина изданы на многих языках общим тиражом более 3 млн. экземпляров. «Легенды о матерях» и «Легенды о мастере Тычке» включены в школьные программы.



В. Ш. Ваша Эрзяния производит странное впечатление. Классические русские деревни, даже более русские, чем под Тулой,— с бревенчатыми избами в три окошка, баньками на огородах... а на улицах говорят не по-русски. За столом поют песни вперемешку: одну — русскую, другую — непонятную. Вообще любят петь. Наверное, самый безобидный народ на широкой Руси — смирный, спокойный, работающий...

И. П. Лесные люди. Эрзи даже строились не в линейку, а как бы кругами. Один круг — один род. Сильно сохранилось язычество: - множество богов, моляны в священных рощах. Мне бабушка эти моляны вбила в сознание с детства. Но у мордвы есть поговорка: «Не дразни собаку и эрзю». Лесной человек, если полюбит, то навсегда, но если возненавидит, то тоже на всю жизнь.

В. Ш. А вы — злой человек?

И. П. Наверное, злой.

В. Ш. Вот и славно. Рассказали бы вы, злой человек Панькин, правду о войне. А то, знаете, сплошь и рядом теперь суются с этой «правдой» те, кто ее не видел.

И. П. Ну, главное — на войне был виден человек, и этим определялось почти всё. За одним, допустим, поползут на нейтральную полосу, потому что он никому не делал подлостей, а за другим, даже командиром, — нет. И убивали командиров, тех, кто издевался над нами в запасных полках,— да, было такое. У нас всех таких убрали. Остальные стали как шелковые. Я никому подлостей не делал, поэтому ребята и вытянули меня на плащ-палатке. Готовность к войне... Мы стояли в Бессарабии почти у самой границы. Немецкие самолеты налетели на нас 22 июня, часов в семь утра. Мы раньше только их силуэты на щитах видели. Никто не ожидал, что они кувыркаются, вертятся — ну как вот ласточки, глазами не успеешь проводить. Колонну быстро разбили, машины горят, мы — в поле. И шарахаемся по степи толпами, куда один, туда и все. А они бредут из пулеметов, бомбы бросают. Звездануло меня в спину — не осколком, а, должно быть,

камнем от взрыва — через рот вылетело все, что съел, думал, потроха выкинул. Упал и лежал до ночи среди мертвых. Мимо уже немецкие машины пошли — видны рисунки на бортах: то тигр, то треугольник какой-то... Ночью оклемался и пошел куда глаза глядят. По-настоящему меня угробили в другой раз, на Миус-фронте, у высот Соляной и Безымянной. В марте 1942 года Сталин дал приказ по Южному фронту: только вперед! Вот мы и лезли вперед и уходили под землю. Пригонят утром людей, в блиндаже и печка не нужна, руки-ноги не найдешь, до того тесно. И вот есть такое время суток — лисья темнота. Не день и не ночь. В это время подвозят боеприпасы, приносят в термосах жратву, ходят в атаки... И идешь, стараешься от ребят держаться подальше, потому что по кучам больше стреляют. А потом смотришь: никого уже нет за тобой, ты один остался. Падаешь рядом с мертвыми и лежишь до вечера. Ночью немцы бросают ракеты, но они дают тени, и вот по теням этим можно выползти к своим. И выползаешь, падаешь в траншею, приходишь в свой блиндаж, простывший, заиндевевший. В голове пустота, ничего не соображаешь, только лихорадка бьет. И — опять до лисей темноты. Приносят рыбные консервы и водку. «Есть хочешь?» — «Нет». — «Пить хочешь!» — «Нет». Котелков не было — их только в кино показывают. Какие к черту котелки? Греть ими, что ли, когда ползешь? Ну, вытряхнут эту самую рыбу куда-нибудь, в жестянку водки плеснут. Сидишь-сидишь, потом вытянешь ее вместе с томатом сквозь зубы... Через некоторое время, как ни противно, снова хочется жить. И опять атака...

И осталось нас всего ничего. А немцы все укреплялись. Почуяли нашу слабинку — и как двинули! И от нас — только брызги. И они ходом пошли в Ростов. Не слышал, чтобы кто-нибудь написал об этом самом, так называемом Миус-фронте. Вот как о Херсонесской битве — до сих пор молчок.

В. Ш. А дружба народов была?

И. П. Дружба народов... Вот когда нас всего ничего осталось, сменила нас одна «южная» дивизия, а нас, измочаленных, отвели в тыл, в какую-то деревню. Немцы, конечно, засекли, что новые части перед ними, и попробовали их танками. И дивизия драпанула. Нас вывели на околицу, кричат: «Стреляйте по ним!» Боже мой, как я буду стрелять по своим? Между прочим, сколько я ни выступал по тюрьмам, по колониям — что-то русских в охране не видел. Не верит начальство, что они будут стрелять в спину убегающему. Ну и пробежала дивизия мимо нас, а наши остатки вернули в траншеи — дыру во фронте заткнуть. Казахи, татары держались хорошо. Узбекам — тем надо было пообвыкнуть. Если переживет первые дни, то будет солдатом. Хотя в первые дни и мы шарахались по степи, как овцы.

В. Ш. А евреи у вас в полку были?

И. П. Только политработники. И парикмахер — когда в обороне стояли. Военные корреспонденты приезжали. И в тыловых госпиталях врачи, а в медсанбатах — только русские.

В. Ш. Я потому спрашиваю, что вот теперь ваш, с позволения сказать, коллега И. Минутко пишет в «ТИ» о государственном антисемитизме, о запрете на профессии... Что евреев не пускали на шахты и в колхозы, это я вижу, но, получается, и в атаки тоже? Ну да плевать на эти вопли, их цель известна, как известны и их источники. Меня русские волнуют. «Не будут стрелять по своим...» Но ведь стреляют?

И. П. Теперь стреляют.

В. Ш. Что же причиной деградации народа?

И. П. Видишь ли, раньше каждый чувствовал родовое начало, помнил предков, свою родину, соседей. Плохо ли, хорошо ли жили, но ходили друг к другу в гости — теперь не ходят. Ты и замок, а вокруг враждебный мир. Все усреднили, все выветрили.

В. Ш. А литература не несет ответственности? Она же, как считается, воспитывает. Вот и посмотрим, кого воспитали все эти «Продолжения легенды», «У себя дома», «Огонь», «Лицом к огню», «Хранители огня», «Горящие барабаны», «В долине белых черемух»,

ходулинское «Наш юный Ленин тоже был влюбленным...» и прочая тульская классика. И рязанская, и тамбовская, а паче всего московская... Формально она вроде бы ни к чему плохому не призывала, напротив — звала на строительства ГЭС, на фермы... Но на стройку-то, прочитав хоть десять романов, вряд ли поехал хоть один человек, а вот цинизм официозной пропаганды перелился в целое поколение. Все так и знали с малых лет: это пропаганда, это увлекают, призывают, это нас воспитывают в духе того-то и того-то.

... Теперь говорят: был создан целый класс псевдописателей, псевдохудожников, псевдоартистов, псевдоученых, псевдофилософов... Не этот ли класс сформировал псевдонарод?

Но продолжим. Итак, вас ранили на Миус-фронте...

И. П. ... за 4 дня до повторного взятия немцами Ростова. И в городе долго лежать не пришлось. Мост разбомбили, его восстановили кое-как, пустили поезда, но я на санитарный поезд не попал, а попал на летучку. Привезли в совхоз «Гигант» в Сальских степях, в сельхозтехникум. И туда немцы подошли. Повезли дальше и так постепенно довели до Дербента. А там все забито ранеными: и школы, и конторы. Лежал я на земле возле пакгауза, рядом со мной — рыбные консервы и хлеб. И никакого персонала. Есть не могу, до сих пор не могу видеть эту рыбу в томате... Наконец одна врачиха увидела, что я кончаюсь, и втиснула меня в санпоезд. Привезли в Нальчик. Там попал в железнодорожную школу, на второй этаж. К счастью моему, на второй — потому что однажды ночью слышим под нами шум, крики... Ворвались, значит, режут раненых, но до нас не дошли...

В. Ш. Кто ворвался? Немцы или горцы?

И. П. Горцы. Так же, как молдаване стреляли нам в спины, когда мы отступали из Бессарабии. Потом стало известно, что 25 тысяч раненых идут пешком по Военно-Грузинской дороге, надо для них срочно освободить помещения. Нас — в Баку. Баку не принял: туда раненые стекались двумя потоками, с севера и со стороны Батуми. Нас — в Кировабад, что теперь Гянджа. И там полно. Нас — опять в Баку, на теплоход — и в Краснодарск. И там все забито. В Ашхабаде не приняли, в Ленинанкане не приняли, и так довели до Ташкента. Вышел из госпиталя на костылях, трясет всего, ноги высохли — одни кости вместо ног.

И вот что было дальше с моими ногами. Учился я потом в Баку, в университете. Голодно было. Получишь 500 граммов хлеба — пока до общежития дойдешь, весь съешь на ходу. И была местная однокурсница, вся такая нежная, светится насквозь как пергаментная бумага. Я, вахлак, возьми да и влюбись в нее. А она нас, общежитскую голодную братию, иногда к себе приглашала, по несколько человек. Там чаем напоят, хлебушка отрежут кусок толщиной с бумагу... И вот я как-то раз хотел догнать ее при выходе, побежал по лестнице, оступился, сел и не встал. Ноги отнялись.

Лежу в больнице месяц, другой, третий, четвертый... Начинают говорить, что больница — не дом инвалидов, что надо как-то определяться... Выписываюсь. Привозят меня в общежитие — а там давно выселили, привозят в университет — а там отчислили. И определился я, как говорится, голой задницей на асфальте. Рядом с теми, кто проходящим мамашам культи показывает.

В. Ш. Вот ведь не припомню настоящей книги об инвалидах, а сколько их осталось после войны? Если убитых не то 20, не то 27 миллионов, то сколько было калек? И ведь как быстро они сошли, вымерли! Одно из первых и страшных воспоминаний детства: меня ведут на базар, а обочина на сотни метров вся шевелится, плачет и хрипит, вся забита этими калекками... А ведь это уже были последние остатки тех миллионов, конца 50-х годов...

И. П. Да. Вот я ползал, ползал, и однажды до того муторно стало, что решил повеситься. Только повеситься парализованному было трудно, потому что дома кругом были сталинской архитектуры, высокие такие, с огромными подъездами. Ни до чего не дотянешься... Копошился я, копошился, а те, кто рядом со мной на асфальте жил, — они учуяли, что я задумал, и начали за мной присматривать. И буквально из петли вынули.

Как-то раз в писательской организации был у меня творческий учет. Помнится, даже Ковырзенкова из обкома пришла. Ну, я и упомянул об этом случае. Ходулин реплику бросил: «А зря не повесился!» До сих пор забыть не могу...

Ну да ладно. Вот что было дальше. Эти ребята асфальтовые говорят мне: «Надо тебе из Баку уезжать, здесь ты жить не будешь». А проводники в поездах тогда брали нашу братию без билетов, на один перегон. Поднимут тебя в вагон, а на следующей станции слезай, там уже новые ползут... Так, перегонами, доехал я до Москвы, приполз в центр, в Приемную Верховного Совета. И определили меня в госпиталь на Песчаной улице. Этот госпиталь подарила нашей стране жена Черчилля, там хорошее было оборудование, много угробленных лежало. И там поставили меня на ноги. И снова совет: определяйся, уезжай из Москвы. В той же Приемной выдали билет — в Среднюю Азию.

В. Ш. И вы стали киргизским фольклористом.. .

И. П. В том-то и дело, что не стал. Да, собрал киргизские сказки, мой тесть мне помог — он знал киргизский язык. Обработал и издал. И мне сказали умные люди: пиши лучше о своем, а о киргизах пусть киргизы пишут.

Но печататься-то хотелось! А я к тому времени уже понял: не хочешь писать партийные книги — пиши ни о чем. И я еще стал собирать еврейские смехитучки, которые ни о том ни о сем. Но догадался вовремя бросить.

Приехал в Тулу. Лесные люди любопытные: все-то мне здесь интересно — говор, обычаи, история. Местные привыкли, а для меня это удивительно. У нас рядом с издательством, где я работал, была забегаловка. И мы в нее забегали. Однажды слышу, мужик рассказывает: «Вот у меня отец работал на оружейном заводе краснодеревщиком. Возьмет обыкновенный чурбан, отшлифует его и сажает для проверки блоху. Блоха корячится, корячится, а прыгнуть не может — скользит». Вот это первая деталь, которая меня заинтересовала, потому что хоть раньше я и слышал о тульских мастерах, но это были общие слова, пропаганда. Ия — давай собирать такие штучки. Сяду в трамвай и еду от конечной до конечной — чего только не наслушаюсь! То словечко какое, то сюжет...

Язык здесь особенный, его надо было узнать. В Туле — быстрая речь, не напев, а ритм, то поговорка, то рифма. И вот я долго не мог уловить интонации. Прослышал, что в XVIII веке оружейник Булыгин написал книжку народным языком, и что сохранился, единственный ее экземпляр в библиотеке Эрмитажа. Еду в Ленинград, почти на коленях ползаю — не дают! Дошел до директора, Пиотровского. Дали. И рядом сели — смотреть, чтобы не украл.

В. Ш. Года два назад мне, грешному, удалось уговорить один Журнал переиздать Булыгина. Но не тульский журнал, а... саратовский.

И. П. Да? Но и эта книжка мне не помогла. Видишь ли, в Туле формы языка были разные. Лесков «Левшу» написал чудесно, но это язык, которым говорили с начальством. У Булыгина — праздничный язык. Был язык, на-котором говорили на работе, с детьми, с женами... А я искал уличный.

И вот как-то раз иду мимо завалюшек у Белых ворот. Старушка у избы сидит, Мимо пройдет кто-нибудь — она встанет, начнет что-то говорить. Народ, конечно, идет, не обращает внимания. Поравнялся я с ней, она и жалуется: «Вот видите, когда была молодая, все хотели со мной говорить, а щас никто не хочет говорить!» Елки-палки! Это же то, что нужно! Я всегда блокнот с собой носил. Отошел от нее, записал фразу с ударениями, апострофы расставил, чтобы передать звуковой ряд, интонацию... И вернулся... Она чокнутой оказалась, но благодаря этому на мое великое счастье сохранила тот язык, которым говорили во времена ее молодости.

Стал я к этой старушке ходить на свидания. Послушаю, отойду и запишу. Пока не заметил, что она стала повторяться.

Вот так нашлось музыкальное звучание «Легенд о мастере Тычке»: «Да простит читатель, если в моей книге найдутся рассказы меньше ладошки. Мы, туляки, народ занятой...» и т. д. И я почувствовал, что у меня получается образ мастерового, и не просто мастерового, а вечного, бессмертного. А само имя Тычка — не выдумка. Это, по-научному, керне —

«короткий стальной стержень с закаленным коническим острием, употреблявшиеся для разметки деталей» (Словарь оружейно-железодельного производства XVII — XVIII веков). Это слово бытовало в Туле.

Потом, когда читатель принял эту книгу, когда кустари стали делать и продавать фигурки Тычки, кому-то подумалось, что я напал на золотую жилу. И давай тульские сказки писать! Лаврик, Юткевич, Лазарев, Елькин — кто только не бросился. Но что-то быстро остыли.

В. Ш. Остыли, но тему почти что дискредитировали. Это же была элементарная ошибка, как у вас с киргизскими сказками. В основе художественности — образ, а образ — это реализация архетипов, которые усваиваются в раннем детстве, подсознательно, а потому носят национальный характер. Поэтому не мог Панькин, обрусевший мордвин, выразить душу киргиза — то душа кочевая, тюрская, у нее другая генная память. Эрзац можно сделать, но не более. Я думаю, неудачи многих тульских «сказочников» отсюда. Ошибка, повторяю, элементарная, но для многих непостижимая: ведь в «советской общности» нас этнопсихологии не учили, даже упоминать о ней стеснялись.

Мы и сами часто ошибаемся в этом. Скажем, видим человека, не принадлежащего ни к какой национальной культуре, то есть маргинала. И надеемся: а вдруг из него что-то получится? Ничего никогда из него не получится кроме эрзацев. Или сажаем маргинала определять чужие литературные судьбы. И он определяет по тому принципу, что у Пушкина изложен маргиналом XVII века, помните: «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли, было бы вино...» По принципу «серый серого ведет».

И вот что в результате. Смотрю библиографию тульских писателей. У Виктора Пахомова, признанного поэта, первая книга вышла в 42 года, да не в Туле, а в Москве, у Виктора Грекова, которого, я знаю, вы тоже цените, — в 39 лет, да и что за книжка: один детский рассказик.

Владимира Суворова издали тоже лет через 20 после того, как могли и должны были издать, уже после того, как в издательстве сменились люди. Не знаю, как смог издать в 28 лет первую книжку Владимир Сапронов...

И. П. Да он и не знал ничего. Рукопись Сапронова я нашел в «черном шкафу». Был такой в Приокском издательстве, туда складывали рукописи на съедение мухам.

В. Ш. Отлично помню: прекрасное оформление, стотысячный тираж, стихи свежие, чистые, голосистые, название — «Золотая ладонь». А кто был хозяин этого «черного шкафа»?

И. П. Валера Ходулин.

В. Ш. Цитирую «Зрячий посох» Виктора Астафьева: «... тень великого Льва Толстого витает над этой землей. Тень-то витала и витает, но вот в местной писательской организации царит толстокнижная, угрюмая серость, которая утверждать себя умеет только с помощью горлохватства, подсиживания и поедания друг друга. Сокурсника нашего начали есть и травить уже за одно то, что он талантлив и независим в суждениях».

Еще цитирую: «Местные гаденыши из писателей, кто со смехом, кто так, давай травить мужика пуще прежнего...» Еще: «Не выбрали его на съезд. Если и наметили выбрать, обком не утверд бы, ибо рекомендовали съезду ту самую толстокнижную серость, которая любить не умеет и ревновать не смеет, среди которой оказался и будущий злобный эмигрант Анатолий Кузнецов».

Кузнецов был стукач?

И. П. Не знаю. В Туле его поддерживали Юнак, секретарь обкома по идеологии Сафронов и, кажется, КГБ.

В. Ш. Этого достаточно было, чтобы получить командировку в Англию для сбора материалов о Ленине? Вы же сами работали в издательстве, вы должны знать, что если в поступившей рукописи хотя бы упоминался Ленин, то Тула не могла решить ее судьбы, ее отправляли в Москву, в какие-то таинственные конторы. Или — после разгона редколлегии журнала «Юность» Кузнецова направили туда «для укрепления парторганизации». Не объяснять же вам, что крылось под этой формулировкой.

И. П. А я никогда в партии не состоял. Кузнецов же держался обособленно вокруг него были люди вроде него само Хотя симпатии у него были... Пот он по радио «Свобода» говорил, самый добрый человек из тульских писателей— Лаврик, самая значительная писательница — Парыгина, ну и есть еще такой Панькин, человек, в общем способный, но пьяница.

В. Ш. Еще из Астафьева: «Ваня рассказал мне, как однажды по редакционной работе его вызвали в обком, и местный деятель начал над ним насмехаться, унижать его. А я гляжу — на столе у него Тычка стоит, (...) в виде чернильницы, и говорю ему: «Вот вы надо мной измываетесь, а на столе-то у вас мой Тычка стоит...»

Так и покатился Со стула дуболом— деятель от смеха, слова не может сказать, только тычет в Ивана пальцем и заикается: «Тыч... Тыч... Ты-ы-ычка-а!».

Это кто же такой был?

И. П. Да я уже забыл, как его звали. И он меня после этого забыл. И вот мы однажды встретились, возвращаясь из Плавска с похорон одного партизана, литератора, не пробившегося ни в издательство, ни в Союз писателей. Он к нам в автобусе подсел. Пока доехали до Тулы, договорились. Взяли водки, пришли ко мне домой. Третьим был один поэт Женя. Пьем. Обкомовец и говорит: «Хорошие вы ребята, и вообще все писатели у нас в Туле хорошие, только есть у вас какой-то Панькин...» Женя его спокойно так спрашивает: «Это какой Панькин? У которого ты за столом сидишь и водку пьешь?»

В. Ш. Как неустанной работой надуваются мыльные пузыри и смешиваются с дерьмом порядочные люди — хорошо известно. Не будем больше об этом. Вы упомянули о Херсонесской битве...

И. П. Я поехал на три недели в Севастополь — отдохнуть. И застрял там на год. Напал на архивные документы, на воспоминания! В Туле, конечно, бегали и кричали, что я пропился и не могу выехать. А я плачу хозяйке полпенсии за койку, на остальные покупаю молоко и хлеб и вникаю в этот ужас... В «Истории Севастополя» напечатано, что при падении города все наши были вывезены, разве что небольшая часть осталась и ушла к партизанам. Ложь! Там, на каменном мысу Херсонес, легло 50 тысяч регулярных войск, не считая беженцев. Несколько катеров к ним прорвались — скольких они могли забрать? Остальных немцы прижали к морю и положили, затем сложили в штабеля, облили горючим и подожгли. Есть свидетели, я собрал воспоминания...

В. Ш. Жить год у хозяйки, на молоке и хлебе, чтобы написать несколько рассказов. .. То ли дело ваши собратья: через обкомы-райкомы оформлялись в горячие цеха по шестому разряду, заключали договора с колхозами на изготовление книг о передовиках, да еще обманывали заказчиков... Дикий вы, лесной, злой человек. Ведь злой же?

И. П. Наверное, злой.

Фото Павла РОГОТНЕВА